

НАТАЛИЯ КОСТЮЧЕНКО



ДВЕ ПОЛОВИНКИ ЛЮБВИ

РАССКАЗ

*Все справедливо в любви.
Английская пословица*

В деревне, где прошло мое раннее детство и где я проводила каждые школьные каникулы, проросли первые ростки моей любви. Я навсегда всем сердцем привязалась к этому краю, в котором мне стало дорого все: его неброская, с белесыми песками и седоватыми вербами природа, его реки и озера, его глубокая звенящая тишина. Стала моей болью его боль, когда совсем близко, в тридцати километрах от родной деревни, взорвался Чернобыльский реактор. Я любила свою землю, покрытую радиоактивной пылью, еще сильнее, чем могла любить ее тогда, когда она была чистой и здоровою.

Здесь, в полесской глубинке, такой спокойной, ласковой и безмятежной, вдруг все с ясностью осознали, что нет расстояний не только между Беларусией и Украиной, но и между радостью и горем, жизнью и смертью. Эти расстояния не измеришь километрами, — все взаимосвязано, все близко. И ни один уголок на нашей планете не существует сам по себе, — он связан с каждым из нас, осознаем мы это или нет.

Земля, познавшая черную быль, может быть, кому-то покажется сегодня опасною и немилую, но я не сомневаюсь: для многих здесь по-прежнему ароматнее, чем где бы то ни было на планете, пахнут поля, ярче сияют звезды, нежнее стрекочут кузнечики и поют птицы, громче гремит гром, чи-

КОСТЮЧЕНКО Наталия Николаевна родилась в 1963 г. в д. Старая Иолча Брагинского района Гомельской области. Окончила Белорусский технологический институт. Публиковалась в периодических изданиях Беларуси, России, Литвы. Автор ряда книг прозы. Член Союза писателей Беларуси, заместитель председателя Минского городского отделения СПБ. Живет в Минске.

ще небо и выше трава. И эти ощущения — от любви. Любишь каждую травинку, согретую солнцем, каждую кружку воды из колодца, каждое деревце ивняка, трепещущее седоватой листвой, любишь след от проползшего по песчаной дороге ужа, высокое и бледное небо над головой.

Деревня Прудовица, где я росла у бабушки и дедушки, родителей моего отца, названа так от слова “пруды”. И на самом деле, деревня словно плещется в воде, подставляя ей изогнутый дугой бочок. Прудовица имеет форму полумесяца. Одной, вогнутой стороной, где, отделенные друг от друга межами, пестрят огороды, она обнимает совхозное поле, а другой, выпуклой, как будто испугавшись диких болотистых зарослей ольшаника и “верболоза”, которые, чередуясь с заливаемыми лугами, тянутся до Днепра, она словно отстраняется, отворачивается от всего этого буйного и устрашающего ландшафта. Хотя неброские скрипучие калиточки прудовицких дворов выводят именно туда, где по теплу все начинает звенеть и петь голосами лягушек, кузнечиков и птиц.

...Александровка, ветхая, словно забытая Богом, с крытыми соломой низкими хатками, — это еще одна дорогая моему сердцу деревня, где жила старая, строгая и мудрая баба Наталка. Когда-то, после войны, в этой деревне она воспитала мою маму, маминого брата и еще двоих осиротевших детей.

Александровку пока еще можно отыскать в восьми километрах от Прудовицы. Она удалена от центральной усадьбы совхоза и тихо доживает свой век, затерявшись в лесах ближе к Чернобылю, в песчано-болотистом междуречье. Когда-то, до мелиорации, ее, расположенную на горке, словно торчавшую из воды кочку, надолго отрезали от мира весенние разливы Днепра и Припяти.

Уже который год Александровка входит в тридцатикилометровую зону отчуждения. После аварии на Чернобыльской атомной электростанции жителей Александровки отселили в соседнюю деревню, но спустя два месяца они вернулись и по сей день живут на своей земле самоселами. Теперь их осталось совсем мало. А баба Наталка, которую я тоже любила как родную бабушку, отселения не выдержала. Перед отъездом, вскоре после аварии, она села возле хаты на траву и, поглаживая ее своими старческими трясущими руками, плакала и тихо причитала:

— Крапивка моя... Мои бузочки...

Бузочками она называла сирень, которая пышно кустилась и цвела у нее во дворе. А через несколько дней баба Наталка умерла от горя.

Но тогда, в детстве, когда меня радовало и удивляло все, даже маленькие лужицы с дождевой водой посреди разбитой деревенской дороги, в то время, когда мать и отец были еще молоды и не умерли бабушка и дедушка, а в глухой Александровке неторопливо вела свое хозяйство старенькая, сухонькая и всегда очень опрятная, в своем неизменно сияющем белизной, накрахмаленном ситцевом платочке баба Наталка, тогда весь мир для меня был наполнен покоем, очарованием и любовью.

Любовь, казалось, исходила от всего: от сияющих в ночи звезд, от травы, от желтовато-серых песков, кряжистых верб, даже от страшных грозовых туч. Любовь исходила от каждого человека, хмурого и улыбавшегося. Любовь ощущалась даже в горьком запахе мутного дыма, когда мой дед, сидя на длинной, стоявшей у стены лавке, курил самокрутку. Эту любовь я испытывала и тогда, когда смотрела на его жилистые, с грубой красноватой кожей руки, которыми он, неуклюже набирая в щепотку высыпанную на стол небольшой горкой махорку, мастерил, то и дело скручивая из обрывков газет и склеивая слюной, папиросу за папиросой. А самая большая любовь, мне казалось, исходила от моей бабушки, даже когда она ругала деда за его неумеренную страсть к курению. Вернее, она ругала его за то, что вечерами он курил в хате, особенно когда читал газеты.

— Гаврила, каб у тебя губы посинели! Хиба ж можно столько дыму набрать!

Дед не отругивался, а только хмурился, — он почти никогда не уступал бабушке и обычно молча, не обращая ни на кого внимания, продолжал свое занятие.

Я дружила с бабушкой и любила ее больше, чем всех своих родных. Мне нравилось ее имя, старое и такое странное, каким сегодня, наверное, уже никого из рождающихся на свет не называют: Христина. Воспитав троих детей: двоих сыновей — один из них мой отец — и дочь, которые, повзрослев, уехали от нее в Минск, бабушка Христина теперь жила внуками.

— Как ни жалко своих детей, а внуков жалче, — говорила бабушка “тайкам” и “молодицам”, когда стояла, приобняв меня, в очереди за хлебом. В магазин, который у нас в деревне называли лавкой, мы почти всегда ходили вместе.

Мне казалось, что, несмотря на разницу в возрасте, у нас с бабушкой было много общего. Из-за этого сходства между нами существовала и взаимная привязанность. Нам нравилось ходить на луг и в лес, а бабушка никогда не жаловалась на усталость и часто составляла мне компанию. Мы с ней были “блудницами”.

Мы уходили далеко, собирали цветы и травы, иногда посещали кладбище, где были дорожки для бабушки могилки. Бабушка приучила меня повсюду ходить босиком, даже, вопреки обычаю, на кладбище.

— Гляди ж, моя внучка, — наставляла она меня, — когда я буду старенькая и умру, каб ты по мне не плакала, а вот так, как я теперь до своей мамы и покойного маленького сыночка, ты приходила ко мне на могилку и оставляла свои следочки.

Бабушка неторопливо обходила босыми ногами по покрытому хвоей песку родные могилы и рассказывала о тех близких ей людях, которых когда-то любила и кого больше не было. Она их знала, помнила и воскрешала в своем воображении. И, благодаря бабушкиным рассказам, их по-своему уже знала и представляла себе я. По сей день, каждую весну, на Радуницу, когда обычно живые поминают мертвых, я приезжаю в деревню и приношу на эти могилки цветы. И каждый раз обязательно, какая бы ни стояла погода, разуваюсь и оставляю для бабушки свои следы.

Бабушка, когда она не ссорилась с дедушкой, почти все время улыбалась и словно светилась лаской. За это она нравилась окружающим, в ее присутствии было легко и приятно.

Однажды, когда у меня было плохое настроение, она подошла ко мне и обняла за плечи:

— Скажи, моя внучка, я у тебя красивая?

— Ох, какая же ты у меня красивая, бабулечка!

— А теперь? — на бабушкином лице отразилось недовольство. В глазах у нее внезапно потухли все огоньки и искорки, уголки губ опустились вниз. — Ну, якая я теперь?

— Не... не знаю...

— А погляди, я знов улыбнусь.

И снова озарилась добротой каждая из бабушкиных морщинок, похожих на лучики, которых так много собралось у ее губ и глаз. Мне даже казалось, что именно эти морщинки и были ее украшением. Теперь я ясно видела, как немолодые, мутноватые глаза ее ожили от этой улыбки, заискрились, заиграли ласковыми лукавинками.

Она спросила:

— А ты, внучка, хочешь быть красивой?

— Хочу.

— Так вот, запомни мои слова: если хочешь быть красивой — почаще улыбайся!

К сожалению, почаще улыбаться я так и не научилась.

Бабушка никогда меня ни к чему не принуждала и ни за что не бранила. Впрочем, так она относилась и к другим внукам: старалась им угодить, все за них переделала.

— Слепая любовь у Христины, — отзывались люди о чувствах моей бабушки. — Она своей добротой попортит детей.

Не берусь судить, что кого в этой жизни “портит”. Но бабушкина “слепая любовь” нам, внукам, вполне нравилась. Она разрешала нам бегать чу-мазками, сооружать в доме и во дворе из досок, стульев и покрывал все, что душе угодно, наряжаться в ее широкие “спадницы”, которые мы подвязывали веревками, и в красивые цветастые платки. Бабушка нам позволяла играть и веселиться до полуночи и спать до обеда, а когда мы просыпались, нас всегда ждали за заслонкой в печи в пузатеньких чугунках ароматные блюда: борщ или суп, фруктово-ягодная квасовка, вареники или блинчики с ягодами и творогом, а на столе, накрытые от мух рушником, аппетитные коржики и гладыш с коровьим молоком.

Обычно, когда мы вставали, бабушки в хате не было. Припоравшись — так называли в деревне работу по домашнему хозяйству, — она, чтобы не мешать нам спать, что-нибудь делала на огороде.

Так было, когда дедушка Гаврила пас совхозный скот, а в свои выходные, в отличие от бабушки, он с нами не церемонился, громко кашлял по утрам и, занимаясь по хозяйству, то и дело звякал дверной клямкой и, тяжело шаркая по половицам, ходил со двора в хату. Дедушка был прав. И все эти звуки, ставшие для нас привычными, нисколько нам не мешали.

И нигде никогда, кроме как в то время, в деревне, благодаря бабушке, мы не испытывали больше такого потрясающе приятного чувства свободы. Балую нас, внуков, она руководствовалась какими-то своими, скорее всего, ошибочными убеждениями и принципами, порожденными не столько интуицией и сознанием, сколько сердцем. Слабая здоровьем, имевшая множество болячек и болезней, она, тем не менее, обладала такой неиссякаемой, не соответствующей ее физическому состоянию жизненной энергией, которая могла подпитываться только любовью. К окружавшим ее людям бабушка была мила, улыбочива, говорлива и никому не желала зла. Ей нравилось посидеть где-нибудь возле стожка сена с молодыцами, которые, “скинувшись” втайне от мужей по рублю, собирались вместе, чтобы “поспевать песни” и попить из мутноватых граненых чарочек “горелочки”. Хотя бабушка из-за болезни печени не могла воспринимать спиртного, она всегда выделяла свой рубль и с удовольствием участвовала в посиделках.

— Ох, голубочки, кали б не хвороба, я бы такая была баба мясная да салная! — бросая взгляд то на сало, то на “горелочку”, весело шутила бабушка. — Але ж, дарма, раз нельзя выпить да закусить, так хоть губы помочу!

Несмотря на ее дружелюбие к окружающим, единственными людьми, к кому она относилась по-настоящему жертвенно и щедро, были ее дети и внуки. Только их, забывая себя и весь белый свет, она любила.

Как-то к нам во двор зашла соседка, тетя Одарка — женщина не совсем опрятная, злая на язык, и люди в деревне ее за это не любили. Но все-таки она была соседка, и мы с ней общались.

— Баба Христина, позьчыте шампунь або мыло. Нечем голову помыць, — попросила тетя Одарка. — Пошукала — дома ничего не нашлось. А до меня сестра должна приехать из города.

Я знала, что у нас были и шампунь, и хорошее ароматное мыло. В это время я играла во дворе и спокойно наблюдала, как бабушка торопливо пошла в хату. И вдруг меня словно обдало жаром, когда она возвратилась и протянула соседке брусок старого серого хозяйственного мыла.

— У нас другого нет. Мы моем таким, Одарка, — соврала бабушка, протягивая ей мыло.

Тетя Одарка поморщилась, сказала, что у нее самой такое найдется, и, неестественно улыбувшись, пошла со двора.

Подбежав к бабушке и, не понимая, не веря тому, что увидела, я посмотрела ей в глаза и расплакалась.

Я всегда думала, что моя бабушка — самая добрая и щедрая. Всякий раз, получив пенсию, она ездила с нами, внуками, в Чернигов или Чернобыль, где покупала для нас что-нибудь из одежды и игрушек. А тут вдруг по-жадничала. Пожелала такую мелочь, как шампунь или мыло.

— Я права, — не желая или не умея говорить со мной на эту тему, словно отрезала бабушка. — Одарка — она чужая. И нехорошая.

С такой неожиданной стороны я узнала тогда свою бабушку. Но все равно для меня она оставалась самою доброю и самою любимою. Это была моя бабушка, и, конечно же, она не могла любить всех.

Мне запомнилось, как зимой, когда я уже жила не в деревне, а в Минске, где посещала казавшийся мне самым неудобным местом на свете детский сад, взяв меня и моего братика с собой, родители приехали на несколько дней в Прудовицу. Бабушка и дедушка к нашему приезду закололи кабанчика. Я помню, как бабушка, пристроившись на длинном услоне с большими мисками и кастрюлями, “начиняла” сальтисон и колбасы. В комнате стоял крепкий приторный запах свиной крови, мутноватыми облачками уползал к потолку дым от дедушкиных самокруток. Дед разговаривал с папой о политике. Мама, подвзавшись старым выцветшим фартуком, как умела, помогала бабушке. Моего братика закрыли от этих странных ароматов в горнице, и там он играл с деревенскими детьми.

Я находилась в комнате со взрослыми, счастливо вдыхала запахи, и, не сводя глаз с бабушки, хотела, чтобы эти мгновения моего пребывания в любимой, с неровными, в горбинках, белеными стенами хате никогда не заканчивались.

После была “вчэра” — ужин со свежиной и самогоном. В гости пришли соседи: баба Марья с сыном Виктором и со своей невесткой Катериной, которую Виктор не так давно привез сюда, к себе в Прудовицу из украинской деревни, что находилась по другую сторону Днепра. С этими соседями мы дружили.

Катерина хорошо и душевно пела, у нее был сильный грудной голос. Она развязала и приспустила на плечи платок, словно желала продемонстрировать нам свои густые, волнистые, так украшавшие ее, сколотые гребнем волосы. Глядя куда-то перед собой, высоко держа голову, Катерина грустно пела на родном языке.

*Чорні брови, карії очі,
Темні як нічка, ясні, як день!
Ой, очі, очі, очі дівочі,
Де ж ви навчилися зводиць людей?*

Мои родители расспрашивали у Катерины, как она здесь, в Белоруссии, прижилась.

— Хорошо мне тут. И люди, как и у нас, добрые. Только вот иной раз тоскую. Бывает, поеду домой, зайду в мамину хату, посмотрю на стены, которые мы с мамой белили, да на вышитые рушники, мы с мамой вышивать любительницы, а потом сяду да так заплачу, что сердце разболится. Выплачусь — и снова легко на душе. Я по характеру веселая.

— Теперь и тутака вся хата в вышиванках, — хвалилась невесткой баба Маня. — Катерина у нас мастерица!

— У тебя, Манечка, невестка золотая, — говорила соседке моя бабушка. — Я людей бачу. Жалей ее.

Катерина... Моя дорогая тетя Катя, которую, когда уже нет больше бабушки, я навещаю по сей день. Она постарела, выпцвели с годами ее очи, но она такая же чувствительная и легкая душой, а как возьмет чарочку — все так же хорошо поет украинские песни. Когда я приезжаю, она ходит со мной к моей бабушке на могилку и тихонько всплакивает, когда я разуваясь и оставляю для бабушки свои босые следы.

А тогда, упорядочив свежину, родители стали готовиться к отъезду.

— Мамочка, папочка, я не поеду в Минск. Оставьте меня в деревне, — умоляла я, заливаясь слезами.

— Ох, и правда, — просила за меня бабушка, — не чапайте дитя. Послушайте меня, пускай поживет у нас до школы.

— Что еще за фокусы, — возмущался папа. — Вон Сережа собирается и не капризничает, — кивнул он в сторону моего братика.

— Наташенька, — стала уговаривать меня мама, — поедем. Тебе нужно в садик. И мы даже не взяли для тебя достаточно одежды.

Бабушка обняла меня и тоже заплакала.

— Бабушка, миленькая, ты слышишь, — я стала шептать ей на ухо, — я никуда не уеду. Ты отправляй их, отправляй, пускай они едут. А я спрячусь. Ты не волнуйся.

Бабушка поцеловала меня и, покачав головой, только и сказала:

— Ох, внучка...

Предупредив бабушку, я перестала плакать и так же, как и братик, стала молча и послушно собираться. Повязала шарф, одела и старательно застегнула на все пуговицы пальто, натянула на голову пушистую, связанную бабушкой из кроличьего пуха шапочку.

— Давно бы так, — одобрил мое изменившееся поведение папа.

Все были в сборах и суете, и никто не заметил, как я тихонько вышла из хаты.

Родной двор... Родные вербы вдоль прудовицкой улицы... Я почувствовала уверенность, что на этот раз с ними не расстанусь.

Мне казалось, что у меня вот-вот разорвется в груди сердце, пока я добежала до маленькой, крытой соломой, глинобитной мазанки, где жил мой прадед, который уже по старости лет никого не узнавал и ничего не помнил, и его жена, баба Алена.

— Я пришла к вам в гости, — соврала я. — Можно, у вас немножечко побуду?

— Побудь, донька, — ответил мне прадед. И, не узнавая меня, спросил: — А чья ты будешь?

— Да правнучка ж твоя, деда Гаврилы внучка.

— А-а-а... Дай, Алена, ей варенья.

Слегка раздвинув старенькие, засиженные мухами занавески, я стала смотреть в окно на дорогу, по которой должны были пройти родители и братик. Я волновалась. Мне казалось, что время изменило свой ход и тянулось очень медленно.

Вот, наконец, на дороге показались три фигурки: мама, папа и Сережа. Бабушки с ними не было — впервые она их не провожала. Она ждала меня... И теперь, когда то, чего я так сильно желала, свершилось, я, глядя на удалявшихся родных мне людей, расплакалась. Ведь я их любила. И в эти минуты, словно большое горе, обожгло меня откуда-то изнутри мое первое предательство.

Заплаканная, не притронувшись к выставленному передо мной варенью, я наспех попрощалась с так ничего и не понявшими хозяевами и побежала обратно, в сторону родной хаты. На улице, возле нашего двора, стояла бабушка и, увидев меня, пошла навстречу. Я подбежала к ней и, заплакав еще сильнее, уткнулась лицом в ее телогрейку, от которой пахло коровьим молоком, сеном и еще чем-то очень знакомым и приятным.

— Бабушка, милая, они никогда не простят меня?

— Они уже тебя простили.

Летом они втроем приехали отдохнуть в деревню.

Мы с бабушкой встречали их на станции. Я волновалась и радовалась предстоящей встрече с ними.

— Ох, бабушка, на меня мама будет сердиться, что я не помылась, — беспокоилась я.

— Дарма, моя внучка, от грязи еще никто не умер.

Когда пришел поезд и мы все поздоровались и обнялись, а маленький Сережка радостно повис у меня на руке, мама первым делом стала пристально меня разглядывать.

— Что это у тебя за наряд? — удивленно, то ли шутя, то ли серьезно, спросила она у меня.

Я была очень худа и, по-видимому, на мне нелепо смотрелось атласное, красного цвета, похожее на цыганское, платье с воланами. Самую яркую, самую блестящую ткань купила мне бабушка на базаре в Чернигове, и из этой ткани по нашему с бабушкой заказу сшила мне платье на своей швейной машинке соседка. Платье мне нравилось, пока я не предстала в нем перед ма-

мой. Я была босиком, а на моей невымытой, с грязноватыми подтеками шее красовалось большое пластмассовое монисто.

Я посмотрела на маму: на ней был легкий бежевый костюм, бежевые туфли-лодочки на ногах, а в руках — такого же цвета сумочка. Ее длинные русые волосы были гладко зачесаны и собраны на затылке в тугой строгий узел. Единственным маминым украшением оказалось обручальное кольцо на руке. И вдруг с каким-то новым, неожиданным чувством я оценила ее скромный, неброский городской наряд, и мне стало неловко.

Я незаметно сняла с шеи пластмассовое монисто и зажала его в руке.

— Ну, расскажи, как тебе здесь живется, дочка? — спросила мама.

— Мне хорошо тутака, — ответила я.

— А неужели есть такое слово “тутака”? — мама насмешливо посмотрела на меня. — Разве так говорят? Я смотрю, ты у меня совсем отсталая...

— Ну чего ты, Олечка, дитя як дитя, — защитила меня бабушка.

Вскоре обо мне забыли, и между взрослыми завязался общий оживленный разговор. Только Сережа всю дорогу теребил меня за руку, что-то радостно говорил мне, а я на него почти не реагировала. Мне было стыдно за себя, хотелось исчезнуть, провалиться сквозь землю. Усиленно сдерживая слезы, чтобы не расплакаться, я в одной руке держала маленькую ладошку Сережи, а в другой — сжимала снятые с шеи бусы.

Спустя несколько лет, когда я уже была школьницей и, как обычно, приехала на каникулы в Прудовицу, мы с бабушкой пошли в лавку за хлебом.

В лавке, кроме продовольственного отдела, был еще и промтоварный. Он находился в большом полупустом зале со скрипучими дощатыми половицами, где пахло мылом, новой одеждой и резиной, так как несколько самых крупных торговых стеллажей были заполнены резиновыми сапогами и калошами. Эти странные запахи деревенского магазина я вдыхала как что-то волшебное, и, заходя в него, словно попадала в другой мир.

И вот в этом промтоварном отделе появилось чудо — кукла-цыганочка. У куклы была прелестная глиняная головка, черные длинные волосы, смуглое румяное личико и темные, блестящие, словно миндалины, окаймленные пушистыми ресницами глаза. Кукла была как живая. И я в нее влюбилась.

Вдруг моя чуткая любящая бабушка ее мне купила. Но, выйдя со мной, ослепленной подарком, из магазина, попросила сохранить это в секрете. В то лето у бабушки гостила моя старшая двоюродная сестра.

— Она тоже моя внучка, и ей будет обидно, — объяснила бабушка.

Куклу мы спрятали за занавеской, в нишу не используемой летом грубки.

Часто, прячась от сестры, я тихонько затаивалась за занавеской и играла с куклой. Только помню, что та осторожная игра мне не приносила радости.

Однажды сестра куклу нашла. И, удивленно посмотрев мне в глаза, спросила:

— Что это?

Я почти никогда не говорю: “люблю”. И испытываю неловкость, когда слышу такое признание от других людей. Так как далеко не всегда полноценно чувство, которое привыкли выражать этим священным словом.

Иногда меня беспокоят мысли: я любима своей мамой, но она не всегда принимает меня такую, какая я есть... Меня любила бабушка, но она не была способна осветить своей любовью оказавшийся для нее чем-то чуждым окружавший ее мир... Я люблю своих близких и в то же время могу предать тех, кого люблю...